УДК 316.776

ГОРИН Д.Г.

# Культурные детерминанты включенности локального знания в коммуникативную структуру социального управления

В статье рассматривается функционирование локального знания в России и культурные факторы его включенности в коммуникативную структуру социального управления. Анализу подвергаются такие параметры, как территориальные и экстерриториальные факторы коммуникаций, соотношение вертикальных и горизонтальных каналов коммуникации, изменение контента социальных и политических коммуникаций.

Ключевые слова: локальное знание, коммуникативная структура, территориальные и экстерриториальные факторы, каналы коммуникации.

Исследование особенностей включенности локального знания в коммуникативную структуру социально-политического управления имеет значение для более глубокого понимания условий и факторов развития. Среди факторов, препятствующих развитию на микроуровне, М. Фэйрбенкс называет зависимость от природных ресурсов и дешевой рабочей силы, непонимание предпочтений зарубежных клиентов, незнание конкурентных механизмов, слабую внутреннюю кооперацию, неинтегрированность в глобальный рынок, патернализм, закрытость власти, бизнеса и СМИ[1]. Очевидно, что все названные им факторы тесно связаны с особенностями воспроизводства и актуализации локального знания, которые определяются конфигурацией коммуникаций между микро- и макроуровнями, степенью открытости, сложности и разветвленности каналов коммуникации, направленностью движения информации и т.п.

Под локальным знанием понимается знание, рождающееся в конкретном локальном социальном и культурном контексте в результате осмысления социальными субъектами совместного опыта. Функции локального знания в конструировании социальной реальности были проблематизированы П. Бергером и Т. Лукманом в их феноменологической социологии знания. Они выявили фундаментальную роль первичного взаимообмена субъективными значениями в повседневной жизни и ситуации «лицом-к-лицу»[2]. Развивая свою версию социологии знания, К. Манхейм показал роль локальных социальных групп, в которых определяются общие принципы видения окружающего мира и которые не только играют адаптационные и социализирующие функции, но и могут стать основой развития[3]. Именно локальное знание оказывается ключевым фактором накапливания социального капитала, наличие или отсутствие которого, как показывают современные исследования, определяет или блокирует экономическое развитие. В русле теории коммуникативного действия Ю. Хабермаса[4] функции локального знания могут рассматриваться в контексте соотношения жизненного мира, создающегося коммуникативной интерсубъективностью, и «системного мира», опирающегося на фискальные и административные инструменты.

В настоящей статье культурные детерминанты включенности локального знания в коммуникативную структуру социально-политического управления предлагается рассмотреть на российском социально-культурном историческом материале путем выявления динамики ряда параметров. Это динамика зависимости социально-политических коммуникаций и структур управления от территориальных и экстерриториальных факторов; соотношение вертикальных и горизонтальных связей в системе управления и характер универсализации или диверсификации содержания реализуемых субъектом управления программ.

Динамика первого из названных выше параметров (зависимость социально-политических коммуникаций и структур управления от территориальных и экстерриториальных факторов) в значительной степени повлияла на определение общей конфигурации структур управления в России. Репрезентация «места» как локуса социально-политических коммуникаций находилась здесь под влиянием двух противоположных тенденций. Первая состояла в конструировании социальных структур путем передачи и сохранения социального опыта без необходимости его локального закрепления, а вторая – в стабилизации связей между социальными субъектами и местом их локализации. Институционализация власти часто основывалась на жесткой обусловленности ее самодостаточным характером различных вариантов блокирования географических перемещений и других форм социальной мобильности. Периоды, сопровождавшиеся ослаблением власти и распадом системы пространственного закрепления населения, каждый раз сменялись ужесточением искусственных запретов на локальные передвижения. Подобное замораживание несанкционированных передвижений лежало в основании мобилизационных проектов власти. Например, Петровские реформы соотносятся с завершением формирования беспрецедентно жесткой системы крепостного права. Стереотипы практики крепостничества воспроизводились и в период сталинской «модернизации». В 1937 году крестьянам было фактически запрещено покидать колхозы без трудового соглашения с новым работодателем, они не имели внутреннего паспорта, а рабочие с 1940 по 1956 г. были лишены права увольняться по собственному желанию без согласия работодателя. Динамика «замораживания» общества и периодических «оттепелей», таким образом, связана со степенью «прикрепления» социальных субъектов к своему месту как в географическом, так и в социальном пространствах. Очевидно, что основанная на подобных принципах пространственная модель власти будет воспроизводить иерархические системы коммуникации.

Второй из названных выше параметров (специфика соотношения вертикальных и горизонтальных коммуникаций) проявляется в своеобразной «фрактальной» структуре репрезентации картин социальной реальности, воспроизводящихся в управленческих отношениях. На различных этапах российской истории восприятие общества основывалось на принципе самоподобия смысловых элементов, относящихся к различным уровням социального управления. Эти стереотипные элементы как бы встраивались друг в друга подобно структуре русской матрешки: макроструктуры подстраивались под восприятие, заданное смысловыми конструкциями микроуровня, и наоборот. Например, такие локальные формы социально-структурного порядка, как патриархальные общины, становились неким прообразом для осмысления элементов более крупного масштаба и всей системы в целом не только в дореволюционный, но и в сталинский период. Воспроизводившийся в советском обществе принцип коллективизма был связан с масштабной симметричностью в осмыслении принципов устроения локальных коллективов, объединявшихся в более крупные и разраставшиеся таким образом до размеров «большого» общества. Разветвленная система социально-политических коммуникаций пронизывала все общество, опутывая каждый локальный коллектив «капиллярами» властного влияния. Практически все трудоспособные граждане были прикрепле-

ны к локальным группам, через которые осуществлялись основные связи с обществом. Советский человек, например, был заинтересован в поддержании согласия с коллективными нормами жизни, получая при этом известную защиту и помощь со стороны первичных коллективов. Создание значимых социально-политических коммуникаций вне этих связей было практически невозможным. Это обстоятельство во многом объясняет и отсутствие организованных внесистемных и оппозиционных сил (за исключением культурного андеграунда и нескольких нелегальных политических организаций, с одной стороны, и теневых кланов – с другой).

В российском обществе первого десятилетия XXI века проступали черты новой фрактальности, которая была призвана закрепить социальную ткань хорошо проверенным способом вертикального выстраивания самоподобных структур на разных уровнях социальной интеграции. Новой формой такого фрактала становится корпорация. В условиях огосударствленного «кланового капитализма» наблюдается характерный перенос принципов корпоративного управления в сферу государственной власти, а возможности государства используются корпорациями для обеспечения монопольного положения на рынке[5]. Используя крупные корпорации, власть осуществляет контроль за бизнесом (на семь крупнейших государственных корпораций приходилось более трети ВВП[6]). Блокирование горизонтальной солидарности является существенным фактором складывающейся корпоративистской фрактальной структуры на различных ее уровнях и в разных социальных средах. Политическая монополия на федеральном и региональном уровнях государственного управления дополняется высокой концентрацией капитала в российских корпорациях. Почти в 70% из них существует акционер, имеющий более половины акций (кроме того, почти в половине российских корпораций отсутствует противовес крупному собственнику в лице держателя блокирующего пакета акций). Лишь в 13% корпораций уровень концентрации капитала остается низким и блокирующий пакет акций не сформировался[7].

Вместе с тем не следует забывать, что оборотной стороной подобных фрактальных порядков является дискретность, связанная со слабостью горизонтальных коммуникаций между подобными элементами одного уровня. Связность и целостность подобных фрактальных порядков в российской практике управления достигалась в основном за счет не горизонтальных, а вертикальных связей. Неудивительно, что и в начале 2000-х гг. проблема укрепления государственности была понята в традиционной логике структурирования социально-политических коммуникаций по вертикали при одновременном блокировании горизонтальных связей (такие связи между региональными элитами в 1990-е годы воспроизводились, например, в Совете Федерации, который стал первой жертвой «укрепления вертикали власти»).

Однако если на различных этапах российской истории фрактальность смысловых порядков создавала возможности относительно беспроблемной репрезентации социальной целостности, то теперь ее воссоздание в корпоративистском или каком-либо другом варианте оказывается весьма проблематичным. И не только потому, что в российском варианте корпоративизм опирается преимущественно на фискальное и бюрократическое давление (которое способно продемонстрировать эффективность лишь в краткосрочной перспективе). В дифференцированном обществе с разнообразными формами локальной социальности сложно реализовывать коммуникативные стратегии, соответствующие доиндустриальному или раннеиндустриальному обществу. Движение информации все в большей степени определяется новыми средствами коммуникации, часто имеющими сетевую структуру. Поэтому наиболее надежным путем интеграции управленческих взаимодействий становится раскрепощение горизонтальных связей и стимулирование процессов гражданской самоорганизации.

Третий параметр, характеризующий особенности коммуникативной структуры социально-политического управления, вы-

ражен степенью разнообразия или универсализации содержания реализуемых субъектом управления программ и, соответственно, всего контента информационно-коммуникативного пространства. Разнообразие этого контента в России изначально определяется повышенной культурной, этнической, конфессиональной гетерогенностью общества. Однако власть с регулярной периодичностью предпринимала энергичные попытки универсализировать пространство российской культуры и радикально сократить количество относительно автономных локальных субъектов социально-политических коммуникаций.

В истории России реализовывалось как бы две политики: первая была направлена на поддержание социально-культурного разнообразия, а вторая – на его минимизацию. Первая тенденция находила свое проявление, например, в периоды правления Екатерины II, Александра I и Александра II, которые были отмечены сотрудничеством власти с исламскими народами, утверждением принципа веротерпимости, ограничением деятельности православных миссионеров, приводившей к обострению межэтнических отношений. Вторая тенденция характерна для послепетровской эпохи, когда наблюдалась волна массовой насильственной христианизации неправославных народов, разрушения нехристианских святынь и подавления этнических восстаний (например, башкирского). Очередные волны универсализации приходятся также на периоды правления Николая I и Александра III, когда осуществляется насильственное крещение неправославных народов и снижается доля инородцев в бюрократическом аппарате, вводится запрет на распространение изданий о культуре народов России, прокатывается волна еврейских погромов. В XX веке подобная волнообразная динамика сохраняется. В 1920-е годы народы России получают свою письменность, а вслед за этим и свою печать. Административная деятельность частично осуществляется на родных языках народов СССР. Однако в 1930-е годы происходит универсализация пространства: письменность народов СССР переводится на кириллицу, изучение русского языка объявляется обязательным для нерусских народов, а сфера применения других языков резко сужается. Диктат сталинской идеологии становится основой для унификации всего культурного пространства. Но даже самые жесткие меры могли минимизировать культурное разнообразие лишь на несколько десятилетий. Всплеск этнического и национального самосознания наблюдается уже в годы хрущевской «оттепели», отголоски этого всплеска проявляются и позже. На рубеже 1980/90-х годов российское общество вступило в период бурной социальной мобильности. Господство единомыслия сменилось множественностью интерпретаций социальной реальности. Ответом на размывание более широких идентичностей стало стремление российских граждан к обретению идентичности с локальными группами (семейно-родственными, дружескими, клановыми, корпоративными, профессиональными, этническими). Рост культурного разнообразия в годы перестройки и неспособность власти реализовать себя в более сложных и разветвленных моделях социально-политических коммуникаций привели к распаду властных структур в 1991 году. Весьма симптоматично, что «укрепление вертикали власти» в начале XXI века основывалось на прежних стереотипах: от фактического сворачивания федерализма, ограничения прав российских регионов и унитаризации системы власти до попыток синхронизации времени путем уменьшения числа часовых поясов. Публичная репрезентация власти воспроизводится сегодня в иерархических коммуникативных системах, которые используются и в периоды избирательных кампаний[8].

Сопоставление параметров социальной мобильности с параметрами поддержания разнообразия и унификации контента социально-политических коммуникаций позволяет выявить весьма любопытный парадокс. Консервативное «закрепление» населения в его локальных мирах приходилось, как правило, на периоды снижения разнообразия. Ослабление такого «закрепления» было связано с периодическими «оттепе-

лями», характеризующимися ростом числа субъектов коммуникации и повышением разнообразия контента. Этот парадокс модели социально-политических коммуникаций оборачивается весьма интересным следствием – феноменом «укорененности» локальных сообществ не в своих разнообразных локальных традициях, а в навязываемых «сверху» поверхностных структурах идеологизированной идентичности. Поэтому консервативные призывы вернуться к «корням» и «истокам» звучат сегодня несколько странно: в локальных жизненных мирах эти «истоки» были не только перемешаны многовековой культурной диффузией, но и замутнены навязываемыми «сверху» идеологическими напластованиями. В период сталинского тоталитаризма, например, разнообразные локальные традиции в той их части, в какой они обладали интегративным потенциалом, были «огосударствлены», а затем распадающиеся тоталитарные структуры оставили после себя лишь те проявления «укорененности», которые каким-то образом ускользали от контроля со стороны государства. Возможно, поэтому постсоветская Россия столкнулась с проявлением локального знания не в проектных и интегративных, а в защитных, закрытых и часто теневых формах. Местное самоуправление, например, и сегодня чаще всего основывается не на гражданской самоорганизации локальных сообществ, а на административном ресурсе, привнесенном «сверху».

Теперь сопоставим выявленные особенности с новыми тенденциями, характерными для постсоветской России. Все эти особенности стали следствием устойчивых антимодернистских тенденций во взаимодействии социально-властных структур с географическим пространством. Теперь же они находят свое новое проявление в принципиально иных условиях, характеризующихся радикальным изменением средств коммуникации и характерной для потребительского общества культурной ситуацией. Разнообразие мира, выраженное в локальных самобытностях, заменяется локально реализованной универсальной виртуальностью. Российские телеканалы делают ставку на массового зрителя, вытесняя при этом интересы специализированных аудиторий. Информационно насыщенные новостные ленты несут в себе лишь информирование о мире, а не понимание его через призму локального знания. Поэтому отдельный человек не может повлиять на эту информацию, более того, ему все сложнее с ней скорреспондироваться. Виртуализация сферы политики, ориентирующейся теперь не на идеологизированные образы и смыслы, а на красочные «спецэффекты», находится в русле тех процессов, которые затрагивают всю социальную реальность. Социальная ткань общества удерживается теперь не столько вертикальными иерархическими структурами, стремящимися к территориальной определенности и укорененности, сколько сетями, имеющими экстерриториальную природу. Социальные сети принципиально децентрализованы и основаны на бинарной логике: полезно и существенно лишь то, что входит в данную сеть, остальное игнорируется или исключается из сферы значений. И хотя сети представляют собой довольно старую форму социальности, в глобализирующемся мире они приобретают принципиально новые функции. Огромные территории, не включенные в глобальные сети, теряют для них какую-либо значимость.

Разумеется, территориальные детерминанты жизненных миров сохраняют свое значение и в некотором смысле даже усиливаются, чему способствует сырьевой характер экономики, автаркизация локальных экономических практик (особенно в депрессивных регионах), фрагментарный возврат к доиндустриальным формам поведения, а также исчерпанность потенциала сельско-городских миграций и замедление роста городов. Но очевидно, что спекулятивный характер финансового капитала, интеграция отдельных отраслей в деятельность транснациональных корпораций, наблюдающийся рост пассажиропотока, активизация трудовой и образовательной миграции на фоне развития крупных региональных центров и упадка периферийных районов способствуют эволюции стратегий социального поведения в плане его экстерри-

ториальности[9]. Эти тенденции соотносятся и с особенностями концентрации капитала[10]. Если в современной России финансовые ресурсы концентрируются в одном месте, а производственный цикл, в который они инвестируются, находится в другом, то это означает, что территориальные и экстерриториальные интересы весьма сложным образом переплетаются в самом основании общества.

Совмещение разнонаправленных процессов создает новую информационно-коммуникативную конфигурацию структуры социально-политического управления. Эта конфигурация характеризуется множественностью информационных потоков и их пульсирующим характером. Экстерриториальные связи организуются в сетевые структуры, а территориальные проявления социальности разобщаются под давлением иерархических структур. С одной стороны, новая ситуация освобождает творческие силы человека от диктата иерархических структур и открывает новые перспективы личной и социальной креативности. Но, с другой, возникают неизвестные ранее механизмы контроля, проникающие в самую суть социальных отношений.

В культуре России, не имевшей устойчивого опыта модерна, территориальные детерминанты часто обретают защитную антимодернистскую форму, а постмодернистские экстерриториальные тенденции отрываются от закрытых локальных идентичностей. В результате сфера политики оказывается неспособной адекватно выражать не только экстерриториальные тенденции, но и локальные интересы территориальных общностей. Властное влияние, имеющее сегодня тенденции к экстерриториализации, по-прежнему апеллирует к территориальным стереотипам. Таким образом, система социально-политических коммуникаций в современной России в очередной раз столкнулась со своей традиционной проблемой: неэффективностью иерархических коммуникативных структур и разорванностью горизонтальных коммуникаций, сконцентрированных в замкнутых локальных мирах. Выбор между творчеством и конформизмом, активизмом и апатией в новых условиях будет зависеть от успехов в создании гибкого неиерархического механизма публичного согласования интересов различных социальных групп, учитывающего пульсирующий характер территориальной и экстерриториальной ритмики и позволяющего встраивать современное локальное знание в процесс социально-политических коммуникаций.

---

[1] Фэйрбенкс М. Преобразуя сознание нации: о ступенях, ведущих к процветанию // Культура имеет значение. Каким образом ценности способствуют общественному прогрессу. Под ред. Л. Харрисона и С. Хантингтона. М.: Московская школа политических исследований, 2002. С. 262.

[2] Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М.: Медиум, 1995. С. 37–60.

[3] Манхейм К. Диагноз нашего времени. М.: Юрист, 1994. С. 7–11, 478–502.

[4] Хабермас Ю. Демократия. Разум. Нравственность. Московские лекции и интервью. М.: ACADEMIA, 1995.

[5] Иноземцев В.Л. Корпорация «Россия»: желательна ли такая перспектива и насколько она возможна? // Неприкосновенный запас: дебаты о политике и культуре. 2006. № 4/5 (048/049); Кагарлицкий Б.Ю. Корпоративная утопия Владимира Путина // Там же.

[6] Либман А. Политическая логика формирования экономических институтов в России // Пути российского посткоммунизма: Очерки. М.: Изд-во Р. Элинина, 2007. С. 107.

[7] Российские корпорации: внутренняя организация, внешние взаимодействия, перспективы развития / Под ред. Т.Г. Долгопятовой, И. Ивасаки, А.А. Яковлева. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. С. 30–31.

[8] Шиян А.А. Формирование иерархических социальных структур как способ проведения избирательных кампаний. Теория и результаты апробации. Анализ одной избирательной кампании по одномандатному избирательному округу на выборах в Государственную Думу России в 1999 году // Политический маркетинг. 2000. № 3. С. 9–42.

[9] Рязанцев И.П., Завалишин А.Ю. Территориальное поведение россиян (историко-социологический анализ). М.: Академический проект; Гаудеамус, 2006.

[10] Волков В. О территориальном и экстерриториальном капитализме // http://parere.ru/actualno/show/4